Михаил САДОВСКИЙ

У каждого времени свои поэты

Исповедь читательского сердца

Выдающемуся нижегородскому поэту Юрию Андреевичу Адрианову *(18.06.1939 – 12.08.2005)* в этом году исполнилось бы 80 лет.

Оглядывая творческий путь подлинного шестидесятника, со всей определенностью приходишь к пониманию, насколько интересна и богата неповторимая творческая стезя поэта.

Сегодня уже ни одна антология нижегородской поэзии не может обойтись без стихов Адрианова. Сколь бы мало поэтов она ни представляла: сто, двадцать или десять, например. И даже если бы вас спросили: назовите пять лучших нижегородских поэтов, то и тогда бы в эту великолепную пятерку неопровержимо вошёл поэт Адрианов со своими лучшими стихами.

Да что нижегородская антология! Уже первую антологию русской поэзии XXI века украшают и стихи нашего замечательного земляка.

Сам Юрий Адрианов о себе отзывался: «Я – гость двадцать первого века», но в адриановский юбилей приходит осознание, что это не более чем сверхскромное заявление.

Восхищенные и завистливые взгляды всегда сопровождали его: «Счастливчик… Баловень судьбы…».

И действительно, в оттепельное время он стал известен практически в одночасье – с первой публикации 15 сентября 1957 года в областной комсомольской газете «Ленинская смена». Стихотворение «Окоп», посвященное памяти отца, погибшего в Севастополе в Великую Отечественную, дало мощный творческий импульс вхождению Юрия Адрианова литературу.

Каждая последующая публикация прибавляла ему заслуженной известности и популярности. Невероятное событие для того времени, времени железного занавеса, – первым из нижегородских поэтов Юрий Адрианов побывал в Англии. Строки о загранице стали географическим расширением поэтического пространства и признания читателя: «Мы в Шеффилде шли по шахте – несколько русских парней…».

Поэт Владимир Автономов, видя недюжинный адриановский талант, был весьма категоричен – и словно приговор озвучил: «Ну и силища, рядом с такими в литературе делать нечего!».

В шестидесятые повествовательная манера поэтического мышления 50-х годов неотвратимо отстала от дыхания нового времени.

Яркой выразительницей нового дыхания явилась поэзия Адрианова. Юрий Адрианов оказался заметно впереди не только поэтов старшего поколения, но и своих ровесников.

Адрианов неудержимо вырвался вперед и, безусловно, стал самой заметной поэтической фигурой Нижегородчины.

А когда вышла в свет первая книга «Считайте годы по вёснам» *(1963)*, ставшая неким откровением и романтическим воплощением времени, слава поэта стала разрастаться сверхстремительно. Название книги дало стихотворение, посвященное однокурснику Александру Цирульникову:

Считайте годы по веснам.
По веснам, а не по зимам,
По вёснам, штурмующим космос,
Стремительно, неудержимо.

Такой феноменальный успех Адрианова мог произойти только в литературоцентричное время. Время, когда поэзия являла собой и философию, и религию, и голос признания в любви, и выражение гражданской позиции, и… и… и… И все это дарила поэзия новоявленного нижегородского таланта. Сейчас, кажется, появись даже новый Пушкин – вряд ли кто заметит, обратит внимание на столь знаменательное событие. А тогда помогали, пестовали. В счастливой судьбе поэта Юрия Адрианова словно реализовался поэтический завет: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».

Всесоюзное признание и славу Юрию Адрианову принесли книги «Меридианы» *(1965)*, «Северные посвящения» *(1967)*, «Керженец» *(1969)*, «Братина» *(1972)*, вышедшие многотысячными тиражами в центральных столичных издательствах «Молодая гвардия», «Советский писатель», «Советская Россия», «Современник».

На его творчество радушно откликнулись такие авторитетные литературные критики, как Леонард Лавлинский, Павел Ульяшов, Ариадна Алексеева, Галина Егоренкова, Иван Кузьмичев…

Поэзия Адрианова сыграла свою роль и в моей читательской судьбе, полагаю, как, впрочем, и в жизни других многочисленных читателей поклонников.

…В детстве я с утра смотрел в окно кухни коммунальной квартиры и вглядывался в арочные окна автозаводской библиотеки. Горячее нетерпеливое желанием прийти после школьных занятий в читальный зал и насладиться чтением стихов талантливого поэта-нижегородца нестерпимо жгло мое сердце… Я старательно переписывал в заветную тетрадочку любимые адриановские стихи, где детским сбивающимся почерком уже начертаны были строки Есенина и Маяковского. В моей литературной читательской иерархии в поэтические лидеры вырвалась звонкоголосая лира Юрия Адрианова, вполне соответствующая моим юношеским представлениям о настоящей поэзии.

У тебя не прошу я твоей красоты,
Ни любви, ни прощания грустного,
Проводи меня только до первой воды
По обычаю давнему русскому.
Может, озеро будет, колодец, река,
Пусть исполнится правило прежнее…
Вот ручей, как последняя в письмах строка
С утешительной лживой надеждою.
В чем-то я был неправ, что-то спутала ты,
Словно долгую зимнюю пряжу…
Проводи же до первой в дороге воды,
Дальше к тракту проселок проляжет.
Там я смою остатки улыбки твоей,
Помолчу на прощанье немного.
Вот и этот, за мостиком, первый ручей –
Сам спешит, пробивая дорогу…
Это мудро: в истоке грядущей судьбы,
Что едва сквозь года узнается,
Провожали в России до первой воды
До реки, до ручья, до колодца…

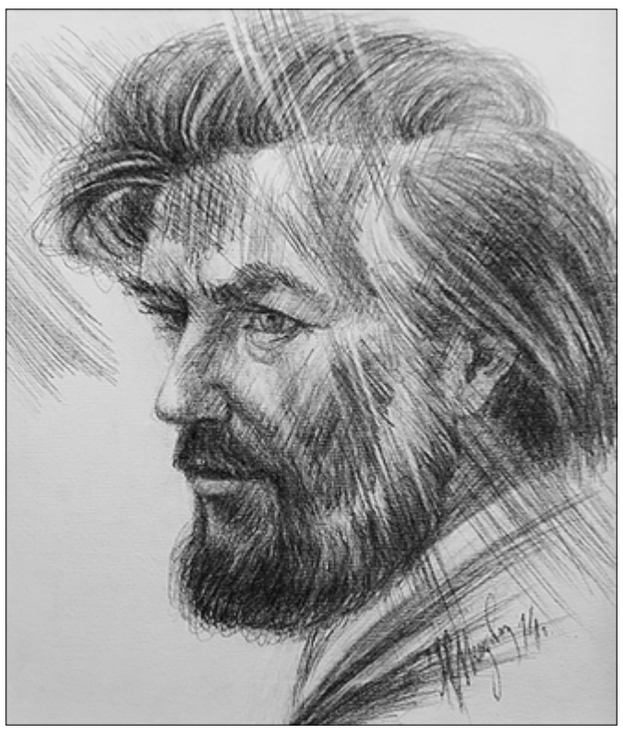
Все, что законспектировал, как нельзя кстати пригодилось школяру. В школьном коридоре я вывесил ватманский лист (выпуск стенгазет – яркая примета времени) с претенциозным названием – «Литературная газета». Как и полагается, с непременными профилями Пушкина и Горького. По замыслу «издателя», газета прорубала окно в большую литературу для автозаводских школьников и вся состояла из возлюбленных стихов поэта Юрия Адрианова, вдохновенно переписанных из тетрадочки.

Среди избранного поэтического массива, словно невзначай, «закралось» мое тайное признание в любви однокласснице. Оригинальная форма объяснения в любви, да и слова поэта, так органично совпадавшие с моими, что лучше их, казалось, не подобрать.

Видимо, одна из замечательнейших функций настоящей поэзии – дарить читательскому сознанию незаменимые слова признания в любви. Таким важным притягательным и завораживающим свойством обладает адриановская лирика.

Готовясь к районному конкурсу школьных сочинений о Родине, учитель порекомендовал обратиться к книге молодого мэтра «Нижегородская отчина» *(1971)*.

И вот тут я совершенно онемел – после прочтения совершенно не мог вымолвить собственного слова. Юное читательское сердце, словно на классическом спектакле в академическом театре, смогло только едва прошептать: «Браво!». Ну разве возможно подобрать слова признания в любви Родине лучше тех, что есть у Адрианова! В сочинении я, словно сознательно забыв о существовании кавычек, процитировал автора тонкой книжечки в белой обложке. Я честно списал. Заметьте: честно! И только попробуйте, придиры и неприкаянные любомудры, назвать это плагиатом! Нет, это высочайшая школа, суть которой монументально выражена в нетленной фразе: «Учитель, воспитай ученика!». И я представляю, сколько людей могут назвать Адрианова своим учителем! И это не обязательно люди гуманитарных профессий (хотя, видимо, значительная часть), но и люди технических специальностей – биологи, химики, физики… В этой самой знаменитой своей книге «Нижегородская отчина» (позже переизданной и значительно расширенной) Адрианов вслед за появившимися «Владимирскими проселками» Владимира Солоухина открыл нижегородцам новый жанр – поэтического краеведения (пусть и не любил поэт слово «краеведение»), когда любовь к родному краю выражена высоким поэтическим слогом.



Потом были встречи с Адриановым: творческие вечера, литературные собрания, разговоры в кулуарах, телефонные звонки… Но первая встреча с поэтом врезалась в память.

Поразила одна удивительная особенность: в его внешнем облике рельефно отразилась отточенность и мудрость провозглашаемых им поэтических строк.

Таким я его увидел и запомнил: волна пышных волос, спадающая подобьем водопада на светлый лоб, озаренный взор серых глаз с пронзительно небесным отливом, лукавые лучики морщинок, таящие темную глубинную заводь тишайшей грусти, подчеркнуто внушительная ямочка на волевом подбородке…

Тогда подумалось: так и должен выглядеть настоящий поэт.

Интеллигентнейший Юрий Адрианов являл собой классический образ Поэта.

Довершением моего восторженного отношения к поэтическому небожителю стала теплая полушутливая публикация коллажа, в котором в узнаваемом образе буревестника революции Максима Горького отчетливо просматривалось лицо Адрианова. Это только закрепило в моем сознании его репутацию как первого современного нижегородского поэта.

Книги Адрианова с полок книжных магазинов сметал – как корова языком слизывала – небывалый читательский голод.

Спустя годы – надо же случиться такому невероятному событию! – библиотеку, где я упоенно читал и конспектировал книги, назовут именем любимого поэта – Юрия Андреевича Адрианова.

Поговаривают, что поэт не очень любил Автозавод, но рабочий район любил и деятельно любит поэта. Да так любит, что библиотеку с нескрываемой любовью и признательностью нарек его именем.

Мало того, открыл в ней музей, посвященный поэту, где собраны все сборники стихов, рукописи, этюдник, живописные пейзажи и редчайшие фото (Адрианов с к первым космонавтом Гагариным, Адрианов с писателем Валентином Распутиным, Адрианов со студентами…), и презентации, и школьные конкурсные исследования творчества поэта… Юрий Адрианов не только пронзительный поэт-лирик, но и тончайшим художник, который с левитанистой задушевной щедростью запечатлел картины российской природы. Пейзажная живопись поэта почти равновелика его стихам. Золотое правило – «Любите живопись поэты!» – Адрианов словно еще раз реализовал в своем творчестве.

Когда открыли музей (сверхнеожиданное исполнение моей мечты!), представьте мое ощущение: это словно памятник моему детству, отрочеству, юности, первой любви к родниковому русскому слову. Я и сейчас с трепетом и нескрываемым пиететом вхожу под своды библиотеки, носящей уже священное для меня имя, чтобы в очередной раз приобщиться к судьбе и творчеству большого русского поэта.

Директор библиотеки имени Юрия Адрианова И.И. Неугодова, всегда приветливо встречающая гостей, проводит огромную работу по прославлению творчества любимого поэта.

У нас в Нижегородской области столь высокой чести – персонального музея – удостоились только такие мощные литераторы, как Горький, Добролюбов, Корнилов и… не кто иной, как Адрианов так непринужденно вписался в столь замечательную плеяду титанов русской литературы.

Адриановская поэзия для интеллигенции Нижегородчины если не затмевала столичных авторов, то во всяком случае ни в чем им не уступала, а тематически близкими нижегородскими сюжетами была просто незаменимой. Не отсюда ли появилось знаменитое адриановское выражение – «Провинциальные Гомеры»?

По-иному масштабность и значимость творчества патриарха нижегородской поэзии лаконично выразила Татьяна Павловна Виноградова, профессор ЮНЕСКО, внучатая племянница великого Добролюбова: «У нас есть свой поэт».

И здесь вспоминаются известные крылатые строки:

У каждого времени свои поэты,
Но есть поэты на все времена!

Теперь мы можем со всей уверенностью констатировать, что первая часть этой стихотворной формулы поэтом Юрием Адриановым уже успешно воплощена в нижегородской литературной реальности, а вот вторую часть поэтического афоризма, очевидно, еще предстоит неуклонно доказывать. Но нескончаемо верится в прозорливость искренних слов Ярослава Каурова, ученика поэта: «Пока существует русский язык, будут любить стихи Адрианова».

Поэтому есть неизбывная надежда и непререкаемо твердая вера: целеустремленная поэзия Юрия Адрианова, словно чистейший родник, пробьет себе дорогу в будущее. «Считайте годы по вёснам!». Встретимся в XXII веке!

Александр БАЛТИН

Сияние советского деревенского космоса

Размышления и ощущения

Мощный кряж деревенской прозы

Учитывая чрезвычайное (хотя и естественное) значение деревни в дебрях русской жизни, странно, что деревенская проза как направление оформилась только к середине 60-х годов двадцатого столетия. Прорастая сквозь толщи литературного массива травинками очерков Валентина Овечкина, точными и острыми рассказами и зарисовками Александра Яшина, очерками Ефима Дороша, именно к сердцевине шестидесятых деревенская проза набирает ту меру художественной силы, что позволяет ей сложиться в своеобычный литературный пласт.

Колхозный опыт осмыслялся критически, и страсти, бушующие внутри центральных произведений направления, не уступают огненным лабиринтам вполне городского Достоевского. Совесть – альфа книг Фёдора Абрамова; и определяющий пафос «Братьев и сестёр» есть единение народной силы перед пламенеющим ликом беды. Церковь используется, как клуб; но накал стихийного горения, в результате которого председатель снят с поста, не уступает молитвословию прежних веков.

Раскрытое сердце деревни пульсирует трудом, и запах жизни определяется ароматом произведённого хлеба. «Привычное дело» суммирует столько присущего русской деревне, что и больно и радостно становится: радостно от блеска и плеска живой жизни, горько – от того, что так всё спутано в ней, не развяжешь, и попытки хорошее отъединить от дурного могут кончиться запоем…

Особняком стоят рассказы Юрия Казакова – с живописно прописанными образами простецких мужичков, скуласто и крепкоруко укоренённых в жизни, надоедающей им – как, например, в рассказе «В город», где плотник деревенский даже сны видит только о городе, мечтая уехать туда, к дочери.

Несколько в стороне, мощно и одиноко возвышаются «Любавины» Шукшина – деревенский эпос, где корни жизни выдираются творящейся новью, коли сильный род кулака Любавина вынужден противостоять приехавшим гепеушникам…

И – точно от голоса природы самой – словно и не написанные, а чудом природной силы проявленные, возникают повести Распутина, в которых мало праздничного, но то, что были они и есть – уже праздник литературы…

Как далеко в небесных водах, в таинственных недрах неизвестного, мистического Китежа плеснувшая хвостом Царь-рыба становится классическим романом Астафьева…

Деревня тишает – когда не сходит на нет. Иные формы работы на земле: поди, расскажи нынешним тридцатилетним, что такое колхозы.

И возвышается кряж советской деревенской прозы не только эстетическим, но и историческим уже феноменом.

Млечная метафизика Василия Белова

Ложатся фразы в пазы друг другу, как тщательно обработанные плотником доски; ложатся без зазора, не вставить металлический предмет критики между ними. Острый предмет.

Лодка плывёт – и человек, глядя в воду, видит, как гуляют по водным тропам горбатые окуни: большие, твёрдые, прохладные.

Изначальность воды плывёт, мерцая тишиною, жизнь тая и открывая. Давшая некогда всю жизнь – изначальность воды…

Свежесть сна – и городские дебри, что откроются чуть позже в «Воспитании по доктору Споку» Белова: писателя столь от земли русской, сколь сама она – от древности славной силы.

…Девчонка в летнем платье, стоящая на большелобом камне, зовущая сновидца; летняя отрада и успокоение, и – городская комната с привычным бардачком. Плавно разматываются круги повествования – как будет оно ткаться на прялке старинной в этнографических очерках Василия Белова, всю жизнь собиравшего бывальщины, песни, пословицы, предметы материального быта; словно и не поэтизирующего Север, но показывающего его таким, что любая поэтизация была бы избытком.

Закаты и восходы, как духовные веера простоты и смысла, простёртые над нами; деревенский, деревянный лад, как нечто, извлечённое из недр затонувшего Китежа. Советский Китеж затонул окончательно, оставив по себе много замечательных свидетельств.

…Песня, одиноко звучащая над водой.

И родное всё – не выбросить из бесконечной метафизики жизни, не зачеркнуть. Только и остаётся – упиваться волшебным, млеком жизни текущим языком, да вспоминать чудные, цветовые красоты северной земли…

Александр Яшин как прозаик

В поэте зреет прозаическое зерно чаще, чем в прозаике поэтическое, и то, что Александр Яшин обратился к прозе, будучи уже признанным поэтом, свидетельствует и о мере его таланта, и об интенсивности внутренней работы.

Критика встретила его прозу по-разному: на разносы наслаивались утверждения, что прозою он заслонил себя как поэта; истина, как ей и полагается, находилась между полюсами.

Критике подвергся уже первый опыт Яшина в прозе «Рычаги»: мол, картина, данная в рассказе, слишком мрачна: не соответствует яви. Парадокс, однако, в том, что явь сама порою не соответствует образу, который должен бы её представлять; и сгущённая прозаическая мрачность Яшина логично вытекала из досконального его знания жизни – именно такой.

Правда поэта, перешедшего в прозу, была слишком наждачной – с одной стороны, а с другой – настолько хлебной, что невозможно было усомниться в подлинности предложенного.

Повесть «Сирота». Цикл маленьких рассказов – «Первый гонорар», «Старый валенок»… Акварельного разводы зарисовки, составившие цикл «Сладкий остров».

Александр Яшин раскрывался новою радугой: и дополнявшей его суровую, нежную, такую разную поэзию, и точно представляющей другого писателя. Деревня – его боль и счастье, его родина и тоска – глинисто отдавала пейзажи свои бумаге, и люди, проходившие по тропам рассказов, были слишком всамделишными для сомнений в их правоте.

В их счастье-несчастье, круто смешанном в лаборатории Яшина.

Он был прозаиком соли: самой сущности дней; и крестьяне, хающие до начала собрания колхозные порядки, а потом говорящие то, что нужно, во время оного, настолько очевидны, что мысли о сознательном очернительстве кажутся кощунственными.

Поэтическое дело Александра Яшина концентрацией силы давало кристалл, сверкающий небесными гранями. Но и проза его, взятая от земли, через боль и муку поднималась вверх, суля грядущее.

Шаровая мощь Василия Шукшина

Многих современных актёров следовало бы именовать не "народными", а "простонародными", как ряд писателей, некогда превозносимых – "псевдонародными"; тем не менее существует подлинная, сколько бы ныне не подвергался осмеянию этот термин, народность – прорастающая из самых глубин, из гущи и дебрей страны и витальных её возможностей, и Василий Шукшин лучшее тому доказательство.

Все ипостаси его деятельности отмечены сим высоким знаком: и каждой было бы достаточно для величия, для того, чтобы остаться в истории культуры столько, сколько она будет продолжаться; но писательская высота Шукшина – особая: она от подлинного золота речи.

Как естественно фраза любого рассказа ложится в другую! Как просто и ясно выходят из недр жизни замечательные персонажи: хитрованы и простачки, скрипящие деды и грезящие о космосе будущего мальчишки, праздные болтуны… и огромный, могутный телом поп, которого пырни ножиком – по желанию пьяного глуповатого мужичка, – так поболит немного и зарастёт.

И юмор Шукшина – из деревень, от жизни, простой и необходимой, с её повседневным хлебом и подвигом ращения детей… Как срезал Глеб Капустин зарвавшегося московского интеллигента! и ничего, что философию перепутал с филологией, так даже забавней…

Простота, известно, хуже чего бывает, но у Шукшина – яркая ясность: будто воздух сгущается в волшебные рассказы, открывая новые и новые ипостаси жизни народной – той, каковою была в годы, отмеренные мастеру.

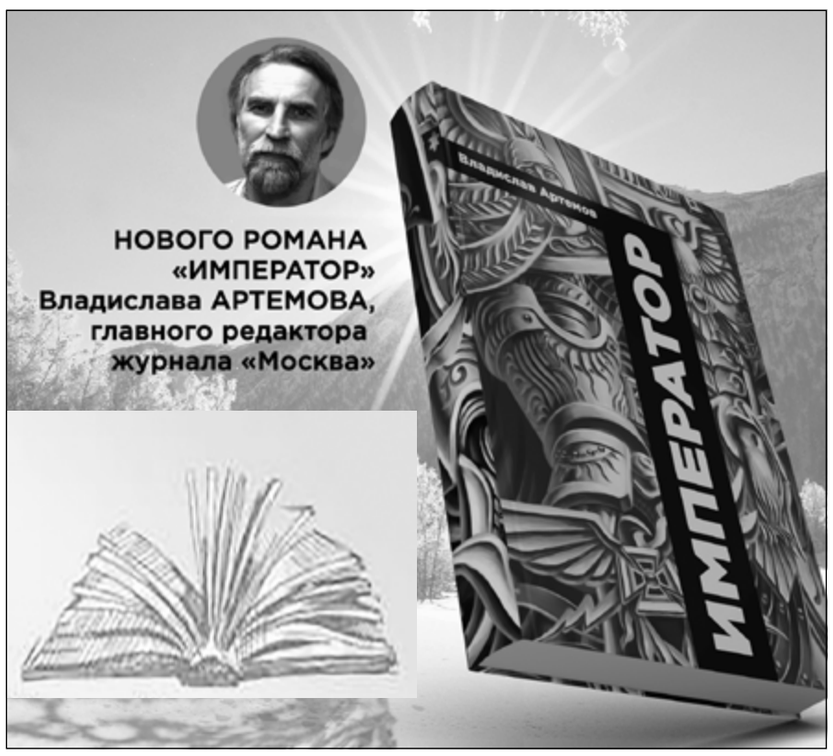
И – рассказ к рассказу – будто строится терем прозы, нет! Китеж всплывает из вод нынешнего дурновкусия и глупости, связей и торгашества премиями: Китеж, сияющий красками ума, юмора, доброты – а всё это проза Шукшина предлагает в избытке.

Но не только в рассказах великолепны мускулы мастерства Василия Макаровича: и "Любавины", густо замешанная история рода, возвышаются над обилием разной мелкотравчатой и толстотомной прозы; что за герои! какая великолепная гроздь характеров!

И Стенька бушует – оставшийся в веках, не прекратил ни бунта своего, ни разгула – проигравший победитель, пытаемый в конце так страшно, но смехом над палачами глумящийся, не дающий им насладиться стонами своими.

Василий Шукшин рядом с нами: вот они тома его, на многих полках; Василий Шукшин удивляется нам – как могли дойти до такой агрессивности, эгоизма, алчности; как могли дойти до не-чтения книг, или чтения макулатуры, как могли стать такими?!.

Изменитесь! – призывают тома великолепного Шукшина.



мысль, выраженная в эпиграфе, принадлежит Платону. Платонизм присущ не только идейному содержанию романа Владислава Артёмова, не только, по-видимому, христианской мысли, но и русской государственности. Правда, эта государственность не первый век проблематично поставлена под вопрос. Рецидивы были: Александр Миротворец, Сталин, Брежнев. Есть и сейчас – тенденции, только непонятно, сущностны они или формальны. Строгость во благо – это правда забота, или привычный алгоритм бюрократического действия? Во всяком случае, действие это проходит только там, где ему дозволено: на окраинах и в низах, в обычной сфере действия легионов и центурионов.

А по-настоящему? Средневековые варвары сумели, выучив латынь, прочесть Платона. А теперешние, выучив английский? Цензура сегодня не нужна. Ничего стоящего массы никогда читать не будут. Сложнейший, выделанный, неторопливый, выстраданный и героический роман «Император» они читать не будут. Значит, цензура теперь не нужна, она внутри нас. Непроходимое болото пошлости не требует ограждений. Ибо человек же мера всех вещей! Нет, без государства обойтись нельзя:

«Устройство человека оказалось не сложнее устройства старинного ночника, что много лет стоял в спальне у Бубенцовых. Ночник почти уже не использовали, но когда нажимали кнопку, лампа зажигалась зеленовато-синим светом. Срабатывал электромоторчик, и в таинственном подводном царстве всё приходило в движение, оживало. Проплывали по кругу экзотические рыбы, медузы, осьминоги, покачивались морские коньки, шевелились водоросли, поднимались пузырьки. Однако стоило приглядеться повнимательнее – и видно было, что там движутся одни и те же коньки, медузы, осьминоги. В одних и тех же сочетаниях, в одной и той же последовательности. Что рыб на самом деле нарисовано всего только семь.

Люди самых разных сословий, возрастов, характеров оказались по сути одинаковыми. У всех внутри копошились всё те же семь гадов. Подноготное знание не радовало Бубенцова. Документы, которые он изучал, готовясь к очередному выступлению, были подлинные, цифры реальные, факты ужасающие, фотографии страшные. Но вот что поразительно! Вот во что невозможно даже поверить! Публичные разоблачения, производимые Ерофеем Бубенцовым, основанные на достоверных сведениях, не имели ни малейших последствий. Кроме разве что совсем незначительных. В ответ на страшные факты, в ответ на самую жгучую сатиру – слышался дружный весёлый смех».

Можно говорить, что личность как ценность и как неотъемлемое качество (термин Платона) человека исторически явилась следствием развития христианского сознания, его продуктом. То есть, вот есть Бог – и есть личность, есть собственно человек, каким он нам ценен. Нет Бога – и нет личности, есть «мера всех вещей», гуманистский индивидуум. Такое существо двуногое, которое можно оценивать и, главное, использовать не относительно Бога, а относительно чего-то другого, чего угодно. Платон писал о Едином, о благе вселенной, частицей которой является душа человека. Пелевин, тоже платонист, пишет о Ебанке, частичкой которого является каждая кредитная карта. И вот человеческое сердце. Слева – Платон и Единое, даже – Бог, справа – Пелевин и Ебанк. А прямо перед героем – Артёмов, который говорит человеку: да, я знаю, всё знаю. Налево пойдёшь – коня потеряешь, направо – жизнь. Иди куда хочешь, ты можешь идти куда хочешь, если найдёшь *в себе самом силы* устоять. И перед первым и перед вторым. Это почти невозможно – но ты держись, будь достоин себя. А значит, Бога! И только тогда можно говорить хоть о чём-то. О России, например.

…В романе «Император» – карнавал, театр, цирк, дурдом. Вереница циничных эгодеятелей. Натурализм российской жизни. Идея «каждый за себя» – административно структурирована. И нельзя придумать ничего хуже для страны, чем эта аномия, воцарившаяся сверху донизу, чей императив – самосохранение среди распила.

Всё у Артёмова – страшная сказка. И всё у него – страшная правда. Ремарк восставал против войны и мучился памятью. Артёмов восстает против мира и мучается памятью. Но память это и есть – ты. Мука – это и есть ты. И пока ты ещё можешь себя терпеть в этой человеческой муке самости, на тебя есть надежда. Пусть время – это точильный круг. Ты – мимолётные искры, летящие из-под стачиваемого топора, который и тебе поставит точку… Но – больше всё равно нет ничего.

Поэтому и не к кому больше Владиславу Артёмову обратиться. Только человек и остался. Из сказанного ясно, что «Император» – трудный роман. Но с появлением таких романов в каждой литературе становится одним значительным писателем больше.